

II. Тоталитарные утопии у власти

Большевизм, фашизм, национал-социализм – родственные феномены?

Заметки к одной дискуссии

В центре внимания моих заметок – три движения или режима, взорвавшие все традиционные понятия политической науки. Цели, которых они пытались достичь, были сформулированы уже некоторыми радикальными мыслителями XIX в., однако вообще по характеру своему эти цели были совершенно утопическими. В XX в. выяснилось, однако, что эти утопии не столь далеки от жизни, как это представлялось вначале.

Осуществление утопических грез XIX столетия стало возможно не в последнюю очередь благодаря тому, что проводились они в жизнь действительно революционными методами. Уже первая мировая война с ее тотальной мобилизацией и высокоразвитой технологией уничтожения людей показала, на каком хрупком основании до сих пор базировалась европейская цивилизация. Не зря многими современниками эта война расценивалась как „мировая катастрофа“. Все три движения, о которых мы говорим, – большевизм, итальянский фашизм, национал-социализм – обязаны своим возвышением именно этой войне. Однако первая мировая война, несмотря на революцию в технике уничтожения, которая ей сопутствовала, не руководствовалась какими-либо революционными целями. Цели участников войны, этой „мировой катастрофы“, не взрывали рамок традиционной великодержавной политики. И только режимам, возникшим на развалинах европейского порядка 1914 г., предстояло перевернуть все прежние представления о политике.

Классический тезис: „политика – искусство возможного“ был грубо осмеян ими. Искать компромисса с внутривнутриполитическим оппонентом, как это было характерно для времен либерализма, им и в голову не приходило. Общий процесс эмансипации, развернувшийся в XIX столетии, приведший к освобождению общества из-под государственного контроля, новейшими тираниями был мгновенно свернут. Но, в отличие от авторитарных государств старого толка, деспотии XX в. не ограничились политическим подавлением своих подданных.

Они не только исключили общество из политики и атомизировали его, но и подчинили его идеологической доктрине. Прежнего, скептического человека, доставшегося им от либеральных времен, они постарались уничтожить и создать

вместо него нового человека. Этот новый человек должен был слепо повиноваться вышестоящим и верить в непогрешимость вождя и партии.

Неудивительно, что в этом отношении большевизм, фашизм и национал-социализм, одновременно возникшие на исторической арене и знаменовавшие приход новой политической эпохи, многим авторам, в том числе и некоторым коммунистам, представлялись сущностно родственными явлениями.

I.

В ноябре 1922 г., то есть вскоре после так называемого похода на Рим, один из коммунистических авторов писал о Бенито Муссолини: „У фашизма и большевизма общие методы борьбы. Им обоим все равно, законно или противозаконно то или иное действие, демократично или недемократично. Они идут прямо к цели, попирают ногами законы и подчиняют все своей задаче“¹.

Несколько месяцев спустя сходную мысль высказал Николай Бухарин:

„Характерным для методов фашистской борьбы является то, что они больше, чем какая бы то ни было партия, усвоили себе и применяют на практике опыт русской революции. Если их рассматривать с формальной точки зрения, то есть с точки зрения техники их политических приемов, то это полное применение большевистской тактики и специально русского большевизма: в смысле быстрого собирания сил, энергичного действия очень крепко сколоченной военной организации, в смысле определенной системы бросания своих сил (...) и беспощадного уничтожения противника, когда это нужно и когда это вызывается обстоятельствами“².

Эти и подобные тезисы лежали в основе теории тоталитаризма, которая подчеркивала поразительные сходства между коммунистическими и фашистскими режимами и движениями.

Верно ли, что большевистская тактика служила образцом для фашистов, а впоследствии для национал-социалистов? Верно ли, что своим первоначальным успехом они были обязаны в первую очередь той бескомпромиссности и воле к власти, которой научились от большевиков? Конечно, нет. В отличие от большевиков, ни фашисты, ни национал-социалисты не были в состоянии захватить власть в одиночку. Они нуждались в мощных союзниках и вербовали их себе в рядах господствующего истеблишмента Италии (или, соответственно, Веймарской республики).

¹ Die Kommunistische Internationale. 4.11.1922. P. 98.

² Двенадцатый съезд РКПб, 1923. Стенографический отчет. М., 1968. С. 273.

В своем очерке истории русской революции Лев Троцкий пишет, в частности, что одного-двух верных правительству и дисциплинированных полков было бы достаточно, чтобы предотвратить большевистский переворот. То, что таких воинских частей не нашлось, показывает, как далеко зашел развал российского государственного аппарата в промежутке между Февральской и Октябрьской революциями. Ни в Италии, ни в Германии не было и речи о подобной деморализации в правящих верхах. Послевоенный кризис их, разумеется, ослабил, но ключевые позиции в аппарате власти они прочно удерживали в своих руках. Все революционные выступления, все попытки переворота как слева, так и справа ими успешно отражались. Из того обстоятельства, что в странах Запада практически невозможно оказалось захватить власть против воли правящей элиты, крайне правые очень скоро сделали соответствующие выводы. Они обнаружили большую гибкость, большую способность учиться, нежели Коминтерн. Если западные коммунисты продолжали свои фронтальные атаки на государство, итальянские фашисты, а несколько позднее и национал-социалисты начали борьбу за тех, в чьих руках была сосредоточена власть. Они следовали двойственной тактике: подобострастно „легалистской“ по отношению к правящей верхушке и бескомпромиссно насильственной – к „марксистам“. Расходясь с существующей правовой системой ничуть не менее радикально, чем коммунисты, они вместе с тем подчеркивали, что сама их борьба, ведомая нелегальными методами, служит лишь восстановлению порядка и авторитета власти. „Фашизм возник вслед за социалистическим экстремизмом как логическое, закономерное (...) средство противодействия“, – утверждал Муссолини в ноябре 1920 г. Гитлер сам в ходе мюнхенского процесса 1924 г. называл себя фюрером революции против революции. Но качественное различие между применением насилия справа или слева видели не только фашисты и национал-социалисты. Сходным образом мыслили многие итальянские и немецкие консерваторы, и это стало решающим фактором успеха крайне правых.

Гитлеровская идея „легальной революции“, вызывавшая насмешки многих современников, в условиях Веймарской республики была явно перспективнее программы „пролетарской революции“. Сходным образом дело обстояло и в Италии 1920-х гг. Там новый режим также возник не вследствие насильственного переворота, как в октябре 1917 года в России, а на основе компромисса. Как фашисты, так и национал-социалисты пытались затушевать это обстоятельство, им тоже хотелось бы гордиться тем, что они, как и большевики, открыли новую эру в истории. Поэтому в обоих случаях свой приход к власти они старались стилизовать под ее захват, даже под революцию. Широкие массы сторонников двух этих движений воспринимали события 1922 г. в Италии и 1933 г. в Германии также как своего рода революции. Вместе с тем, путь социальной революции в обеих этих странах был закрыт из-за заключения союза фашистов и национал-социалистов с консервативной правящей элитой. Территориальная экспансия оказалась, в

сущности, тем единственным клапаном, через который можно было выпустить создавшееся при этом социальное напряжение.

То, что тоталитарные режимы в России, с одной стороны, и в Италии и Германии, с другой – имели разные истоки, обусловило и различный характер этих режимов, в том числе и на более поздних стадиях их развития. До конца 1950-х гг. эти различия нередко оставались без внимания западными теоретиками тоталитаризма.

Лишь в 1960-е гг. в теории начались заметные сдвиги. Чем более детальному исследованию подвергали фашизм, национал-социализм, большевизм, тем больше обнаруживалось отличий. Поэтому некоторые авторы даже поставили под вопрос само понятие фашизма³. Исследователи большевизма, со своей стороны, начали все жестче разделять сталинский, до- и послесталинский периоды развития советского государства⁴. Интенсивное изучение особенностей отдельных тоталитарных диктатур не сопровождалось сравнительным анализом. Исследования фашизма и коммунизма развивались теперь сравнительно независимо друг от друга, и у них становилось все меньше точек соприкосновения. Мало что изменил здесь и так называемый спор немецких историков, начатый в 1986 г. Эрнстом Нольте. Пытаясь снять с Третьего рейха и Освенцима клеймо исторической исключительности, Эрнст Нольте и его единомышленники указывали на множество параллелей между советским режимом и нацистским государством. Эти параллели давно известны, их подробно исследовали еще классические теоретики тоталитаризма. И если отвлечься от апологетических пассажей его работ, Нольте в „споре историков“ не сказал ничего принципиально нового.

II.

В конце 1980-х гг., в пору горбачевской перестройки, теория тоталитаризма неожиданно возродилась в Советском Союзе. В течение нескольких десятилетий она представлялась догматикам сталинского толка средством идеологической борьбы в руках классового врага – капитализма. Вследствие горбачевских реформ расшатались некоторые догмы, прежде казавшиеся неколебимыми, что привело, в частности, к снятию табу с теории тоталитаризма. Многие российские авторы с этого момента также начали, вслед за некоторыми западными коллегами, продолжая дело создателей теории тоталитаризма 1920-х гг., говорить о рази-

³ Turner H.A. Fascism and Modernisation // World Politics. 1974. Vol. 24. P. 547-564; Allardyce G. What Fascism is Not: Thoughts on the Deflation of a Concept // American Historical Review. 1979. Vol. 84. P. 361-388.

⁴ Cohen S.F. Bolshevism and Stalinism // Stalinism. Essays in Historical Interpretation / Ed. R.C. Tucker. N.Y., 1977. Tucker R.C. Stalin as Revolutionary 1879-1929. N.Y., 1973. Hough J.F., Fainsod M. How the Soviet Union is Governed. Cambridge, Mass., 1979. P. 522f. Deutscher I. Russia in Transition / Ironies of History. Essays on Contemporary Communism. L., 1967. P. 27-51.

тельном сходстве между большевизмом и фашизмом⁵. Однако современные российские представители концепции родства двух феноменов, как и их предшественники, недооценивали тот факт, что между коммунизмом и фашизмом, по крайней мере в прошлом, существовала почти непреходимая пропасть.

Эта несопоставимость связана не в последнюю очередь с тем, что большевизм в идеологическом плане был укоренен в принципиально иной традиции, нежели фашизм, а в особенности национал-социализм. Большевики были страстными приверженцами веры в прогресс и науку, унаследованной от классиков марксизма.

Маркс развивал свои идеи в эпоху, когда в Европе господствовали позитивистский оптимизм, вера в прогресс. Научная революция начала XX в., в корне перевернувшая позитивистские верования в устойчивость материального мира и законов природы, не коснулась марксизма как системы. В начале века отдельные представители марксизма испытали влияние таких мыслителей, как Бергсон, Ницше, Владимир Соловьев или Эйнштейн, попытались соединить марксизм с некоторыми новыми идеями. Ленин принадлежал к числу наиболее ожесточенных противников подобного рода экспериментов. Нельзя исправлять Маркса, повторял он снова и снова. Партия – не семинар, на котором обсуждаются разные новые идеи. Это боевая организация с определенной программой и с четкой иерархией идей. Вступление в такую организацию влечет за собой безусловное признание ее идей⁶. Ленин оставался верен наивному материалистическому оптимизму XIX в., не имея достаточно полного представления о новых идеях и проблемах, затронутых европейской культурой в XX в. И этой его установке предстояло стать характерной для большевизма в целом.

Но у большевиков были и иные причины верить в прогресс – причины, неразрывно связанные с особенностями развития России. К началу века Россия оставалась промышленно неразвитой страной, технологический прогресс был ей остро необходим. На Западе же, напротив, индустриализация и урбанизация достигли к этому времени такой стадии развития, что породили сомнения в осмысленности самих этих процессов. Понять, в чем состояла сущность того кризиса модернизации, в котором находился Запад, большевики не могли. Они исходили из российской ситуации и полагали, что страна тем ближе подходит к решению всех своих социальных проблем, чем больше она производит промышленной продукции. Что именно в Германии, крупнейшей индустриальной державе Европы, могло прийти к власти национал-социалистическое движение, отвергавшее модернизацию и мечтавшее об „аграрной Германии“ – такого большевики понять не могли. Всякую критику в адрес научно-рационального и материалистического

⁵ Игрицкий Ю.И. Концепция тоталитаризма: уроки многолетних дискуссий на Западе // История СССР. 1990. № 6. С. 172-190. Gadshijew K. Totalitarismus als Phänomen des 20. Jahrhunderts // Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Eine Bilanz der internationalen Forschung / Ed. E. Jesse. Baden Baden, 1996. P. 320-339. Хорхордина Т.Ш. Архивы тоталитаризма (Опыт сравнительно-исторического анализа) // Отечественная история. 1994. № 6. С. 145-156.

⁶ Валентинов Н.В. Встречи с Лениным. Нью-Йорк, 1979. С. 252 сл.

миропонимания они воспринимали как пережиток темных суеверий прошлого. Свою веру в науку они считали последним словом европейской культуры. Популяризация научных и технологических „чудес“ должна была заменить в большевистской России веру в религиозные чудеса. И надо сказать, что в 1920-е – 30-е гг. вера в науку в России действительно приобрела почти религиозный характер.

III.

У национал-социалистов коммунистическая вера в прогресс, в будущее, могла вызвать лишь насмешку. Они не собирались плыть по течению истории. Напротив, они пытались любой ценой овладеть им, обратить его вспять. Повсюду им виделись приметы разложения и упадка, за которыми мерещились тени мощного всемирного заговора. „Закат Европы“, по их мнению, можно было предотвратить, обезвредив инициаторов этого заговора, – евреев, масонов, плутократов и марксистов. К числу идеологических предтеч фашизма и национал-социализма относятся европейские пессимисты, еще на рубеже XIX-XX веков распространявшие видения близящегося заката европейской культуры. Одну из величайших опасностей, грозящих европейской цивилизации, они усматривали в так называемом „восстании масс“. Организованное рабочее движение они считали наиболее опасной силой такого восстания. Чтобы противостоять этой опасности, угрожающей снизу, идеологические предшественники фашистов и национал-социалистов, такие, например, как социал-дарвинисты, предлагали пересмотреть существующие понятия морали. Так, по их мнению, не слабых и угнетенных нужно защищать от сильных, а наоборот, сильных и лучших – от слабых, то есть от большинства, массы. Сострадание к слабому представлялось им совершенно отжившей идеей ⁷.

Позднее эти представления подхватили национал-социалисты. Они идеализировали законы биологической природы и пытались целиком перенести право сильного, царящее в природе, на человеческое общество.

По своей хозяйственной и социальной структуре Италия занимала промежуточное положение между Россией и Германией. Большая разница между Югом и Севером в уровне индустриального развития привела к тому, что в Италии одновременно разворачивались два противоположных процесса. С одной стороны, кризис модернизации, кризис либерализма со всеми его пессимистическими выводами, – как в Германии, с другой же – тенденция к модернизации отсталой части страны, как в России. Итальянский фашизм соединял в себе обе эти тенденции. Его отношение к модернизации можно охарактеризовать как промежуточную позицию между национал-социалистами и большевиками. Эта дихотомия,

⁷ Zmarzlik H.G. Der Sozialdarwinismus in Deutschland. Ein geschichtliches Problem // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 1963. P. 246-273.

присущая фашизму, упускается из виду некоторыми представителями теории модернизации. Так, например, полемика между Генри А. Тернером и Джеймсом Грегором в «Уорлд Политикс (1972 и 1974) была вызвана непониманием двойственного характера итальянского фашизма.⁸ Тернер полагает, что итальянский фашизм, как и германский национал-социализм, воплощает в себе протест против модернизма. Со своей стороны Грегор понимает итальянский фашизм исключительно как движение за ускорение модернизации Италии. Грегор недооценивает те аспекты итальянского фашизма, которые следует понимать исключительно как протест против модернизма. Тернер, наоборот, переносит почти без изменений предельный страх национал-социалистов перед декадансом и последствиями модернизации на итальянских фашистов. Едва ли можно считать случайностью, что и большевистская революция и фашистский переворот были восторженно встречены художественным течением, полностью отдавшим себя модернизму – футуризмом.

Немецко-русский социал-демократ Александр Шифрин писал в 1931 г.: в Италии существует самый современный фашизм внутри слабо развитого капитализма, в Германии же напротив, отсталый фашизм в сложном и высокоразвитом капиталистическом пространстве. Шифрин полагал, что попытка национал-социалистов реализовать их утопические социальные и хозяйственные проекты не выдержит жесткого отпора со стороны немецких капиталистов. Гитлер не понимает законов современного высокоиндустриализованного общества. Отсюда его ненависть к „сокрушительной мощи“ крупного капитала⁹. Как считал Шифрин, большинству немецких капиталистов было ясно, что национал-социалистическое мировоззрение идет вразрез с важнейшими хозяйственными принципами тогдашнего немецкого общества. Однако он переоценивал дальновидность тогдашнего большинства немецких промышленных магнатов.

IV.

Отношение итальянских фашистов к модернизации можно обозначить как промежуточное между позициями национал-социалистов и большевиков. Оно было, с одной стороны, более оптимистичным, чем позиция национал-социалистов, но с другой стороны, в нем присутствовали пессимистические ноты, которых не было у большевиков. Либеральная парламентарная система работала в Италии хуже, чем где-либо в Западной Европе, поэтому и критика парламентаризма в Италии была особенно остра. Здесь очень рано начались поиски альтернативы парламентско-демократической системе. Вопрос об обновлении, о возрождении пра-

⁸ См. Turner Jr. A. Fascism and Modernization // World Politics. 1972. P. 547-564; Gregor A.J. Fascism. Modernization. Some Addenda // World Politics. 1974. P. 370-384.

⁹ Schifrin A. Wandlungen des Abwehrkampfes // Die Gesellschaft. 1931. Vol. 4. P. 409f.

вающей элиты был в Италии начала XX в. особенно насущным. Анализируя механизм образования элиты, итальянские мыслители достигли примечательных результатов.

Многие мыслители из других европейских стран работали над сходными проблемами и тоже создавали модели, по которым можно было бы заново создавать элиты. Однако в Италии критика существующей системы должна была иметь особенно весомые политические последствия, так как социально-политическая структура Италии отличалась необычайной лабильностью. Из-за этой лабильности Италии пришлось сыграть роль сейсмографа, особенно чувствительного к определенным политическим процессам в новой Европе. Возможно, поэтому Италия и стала первой европейской страной, в которой к власти пришло антипарламентаристское, праворадикальное массовое движение, ставившее целью обновление правящей элиты.

Для большевиков иерархически-элитарный принцип представлялся идеалом „реакционного“, отмирающего класса. Идеал равенства они считали единственно возможной и оправданной целью массовых революционных движений. Эту веру большевики унаследовали от дореволюционной русской интеллигенции.

Русская интеллигенция, сама будучи элитой нации, считала, что кризис, в котором находилась Россия на рубеже веков, можно преодолеть не путем создания новой, сильной и жизнеспособной элиты, а путем отказа от каких бы то ни было элит. Русская этика – этика эгалитаристская и коллективистская, пишет эмигрантский историк Георгий Федотов. Из всех форм справедливости равенство для русских – на первом месте¹⁰.

Чувство вины русской интеллигенции перед собственным народом, возмущение социальными несправедливостями достигали беспрецедентной интенсивности. Простой народ идеализировался русской интеллигенцией как воплощение добра. Все понятия, все культурные достижения, недоступные пониманию угнетенных классов, отбрасывались как излишние и безнравственные.

„Долгое время у нас считалось почти безнравственным отдаваться философскому творчеству, – пишет философ Николай Бердяев, – в этом роде занятий видели измену народу и народному делу. Человек, слишком погруженный в философские проблемы, подозревался в равнодушии к интересам крестьян и рабочих“¹¹.

Представители интеллигенции сами себя считали лишними – коль скоро им не удавалось все силы отдавать на служение народу.

Большевики унаследовали от русской революционной интеллигенции убеждение, что „истинная“ революционная партия непременно должна бороться за свержение любой элиты, против самого иерархического принципа. Правда, у

¹⁰ Федотов Г. Народ и власть // Вестник Российского Студенческого Христианского Движения. 1969. № 94. С. 89.

¹¹ Бердяев Н.А. Философская истина и интеллигентская правда / Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1991. С. 12.

большевиков было определение партии как „авангарда рабочего класса“, но оно существенно отличалось от фашистского понятия элиты. Цель авангарда – по крайней мере, в теории – проведение в обществе эгалитарного принципа, а не нового иерархически-элитарного. Несмотря на тот факт, что общество, построенное большевиками после революции, все-таки носило иерархический характер, идее равенства в большевистской идеологии по меньшей мере до начала 1930-х гг. придавалась высочайшая ценность.

Хотя большевики установили беспримерный по своей жесткости деспотический режим, сами себя они продолжали считать защитниками угнетенных и обездоленных. Тем самым они остались верны некоторым традиционным европейским представлениям, восходящим к Ветхому и Новому Завету. Правда, большевики грубо подавляли любые конфессиональные объединения. Но при этом они сами претендовали на то, что смогут честнее и эффективнее, чем церковь, отстаивать идеалы социальной справедливости и равенства. Национал-социалисты, напротив, совершенно отказались от этих идей. И их враждебность по отношению к исходному европейскому образу человека привела к тому, что их самих в конце концов стали считать врагами всего человечества. Это обстоятельство легло в основу одного из самых противоестественных во всемирной истории альянсов – союза англосаксонских демократий со сталинским режимом, режимом, гора трупов под которым была ничуть не меньше, чем под Третьим Рейхом. При этом не следует забывать, что западные державы первоначально позволяли себе заигрывание с Гитлером. Гитлер разыгрывал роль защитника Европы от большевистской угрозы, и поначалу ему вполне удалось убедить некоторых западных политиков. Однако в конце концов в Лондоне и Париже поняли, что Гитлер не способен к самоограничению, что вероломство относится к числу его основных принципов. Уже в 1936 г. – то есть во времена западной политики умиротворения – это заметил немецкий социал-демократ, биограф Гитлера Конрад Хейден. Он писал: „Гитлер не тот человек, с которым находящийся в здравом уме станет заключать договоры, это – явление, которое можно или победить или быть поверженным им“¹².

К пониманию этого обстоятельства в Лондоне пришли в 1940 г., когда руководство правительством перешло к Черчиллю. Когда в июне 1941 г. началась война Германии против Советского Союза, Черчилль, с 1917 г. принадлежавший к числу самых радикальных антикоммунистов, ни минуты не сомневался, какую из двух деспотий следует поддерживать Великобритании.

¹² Heiden K. Adolf Hitler. Das Zeitalter der Verantwortungslosigkeit. Eine Biographie. Zürich, 1936. P. 347.

V.

Поведение Гитлера на международной арене соответствовало модели, которую позднее сформулировал Генри Киссинджер, определивший внешнюю политику революционной державы. Эта держава в принципе неспособна к самоограничению. Дипломатия в традиционном смысле, сущность которой составляют компромисс и признание собственных границ, была практически отброшена революционными государствами, так как шла вразрез с их конечными целями.

Конечной целью Гитлера было: завоевание жизненного пространства на Востоке, уничтожение евреев и коммунистов. И он твердо решил добиться осуществления этих целей уже в кратчайшие сроки. Он снова и снова повторял, что не хочет оставлять исполнение этой великой задачи своим преемникам. В то же время, у него было чувство, что время работает против „нордической расы“, что она постепенно разрушает саму себя. К этим характерным особенностям многие историки возводят головокружительную радикализацию национал-социалистической политики, попытки в один миг создать новый мировой порядок, то есть мир без евреев, цыган и душевнобольных. Коммунисты тоже стремились к установлению нового мирового порядка. Однако у них никогда не было точной даты, когда это „светлое будущее“ должно наступить. Их время было не столь ограничено, как время Гитлера. Они действовали в убеждении, что история на их стороне, так как всемирная победа коммунизма была по их мнению исторически неотвратима. Поэтому и рискованные политические шаги в направлении скорейшего приближения этой победы были не нужны. Поэтому внешняя политика большевиков как правило была достаточно осторожной и гибкой. Большевики не раз совершали однозначно агрессивные шаги, но как правило – в отношении изолированных, в силовом отношении безнадежно уступающих Советскому Союзу государств, так что риск сводился к минимуму. Случаи игры ва-банк – характерная черта гитлеровской модели поведения – в советской политике встречались редко.

И еще несколько слов о фашистской Италии. Следует заметить, что итальянский фашизм, несмотря на свои агрессивные жесты и вопреки своей жажде войны, не сумел придать нового измерения самому понятию войны. Поле действий Муссолини, благодаря сильной позиции итальянских консерваторов, оказалось сильно ограничено, да и военные силы Италии были весьма скромны. Консерваторам, поддерживавшим Муссолини, удалось взять под контроль процесс радикализации фашистской диктатуры и ввести режим в институциональные, прежде всего династические рамки. Поэтому многие авторы справедливо оценивают итальянский фашизм как „незаконченный тоталитаризм“¹³. Массовых убийств, ставших конститутивной чертой как национал-социализма, так и сталинизма,

¹³ Aquarone A. *L'organizzazione dello Stato totalitario*. Turin, 1965; Sarti R. *Fascism and the Industrial Leadership. The Study in the Expansion of Private Power under Fascism*. Berkeley, 1971. P. 69; Bracher K.D. *Zeitgeschichtliche Kontroversen. Um Faschismus, Totalitarismus, Demokratie*. München, 1976. P. 23.

здесь не было. Как заметил в 1941 г. немецко-американский политолог Зигмунд Нойманн, итальянский фашизм, несмотря на свою манию величия, не начал мировой революции; это сделал лишь национал-социализм¹⁴.

Развивая новые представления о войне, НСДАП могла опереться на то, что милитаризация политической мысли в Германии имела давнюю традицию. Английский историк Льюис Нэмьер даже назвал войну одной из форм немецкой революции¹⁵. Но было бы неверно считать, что Гитлер довел до логического конца прусский милитаризм. Ведь мировоззренческая война на уничтожение, развязанная национал-социалистами, не имела ничего общего с прусской традицией. Однако новый способ ведения войны, при котором были сметены все до тех пор существовавшие нормы этики и военного права, оказался возможным потому, что он нашел поддержку у существенной части немецкого офицерского корпуса. Другой английский историк, Алан Баллок, указал на то, как мала, в сущности, была роль столь самодовольного германского генштаба во второй мировой войне¹⁶. Легко заметить также, что офицеры, принявшие гитлеровское понятие войны без какого-либо существенного сопротивления, сомневались, можно ли нарушить законы прусского кодекса чести, а таковым они считали присягу «фюреру», несмотря на то, что Гитлер был тираном и основателем стратегии уничтожения. Заметное сопротивление деспоту способны были оказать лишь немногие. Многие боялись „анархии“ и „коммунистической угрозы“ в случае свержения Гитлера.

Нельзя не заметить здесь параллели с поведением большевистских противников Сталина, так называемых „старых большевиков“, подавляющее большинство которых отказалось от применения силы против тирана¹⁷. И здесь решающую роль сыграл страх перед анархией и распадом системы. О систематическом и последовательном противодействии сталинской деспотии со стороны старых большевиков не может быть и речи. И при этом не следует забывать, что старые большевики отнюдь не были пацифистами, чуждыми насилия. Они без какого бы то ни было сомнения применяли грубо террористические методы борьбы против так называемого „классового врага“. Но поместить Сталина в категорию „классовых врагов“ они были не в состоянии.

Сталин и Гитлер знали моральные колебания и табу своих оппонентов и бессовестно пользовались ими. Конрад Хейден говорил о Гитлере, что тот знает своих противников лучше, чем они сами знают себя, поскольку он внимательно следит за ними и поскольку игра на чужих слабостях составляет важную часть его политики¹⁸. Эти слова Хейдена можно применить и к Сталину. Как Сталин, так и

¹⁴ Neumann S. Permanent Revolution. Totalitarianism in the Age of International Civil War. N.Y., 1965. P. 111.

¹⁵ Namier L. The Course of German History / Facing East. L., 1947. P. 25-40.

¹⁶ Bullock A. Hitler, Eine Studie über Tyrannei. Düsseldorf, 1977. P. 651f.

¹⁷ См. Авторханов А. Происхождение партократии. Т. 2. Франкфурт, 1973. С. 244.

¹⁸ Heiden. Adolf Hitler. P. 266.

Гитлер понимали, каких границ не смогут переступить их политические противники.

VI.

В заключение еще некоторые соображения относительно культа вождей, представлявшего собой как при крайне правых режимах, так и в Советском Союзе при Сталине своего рода государственную доктрину.

Вождистские амбиции Муссолини и Гитлера были с такой готовностью поддержаны многочисленными группировками в Италии и Германии, поскольку оба диктатора играли на тоске многих итальянцев и немцев по сильному „государю“, „цезарю“, возникшей еще на рубеже XIX-XX веков.

Харизматический вождь, пришествие которого многие европейские мыслители предсказывали еще в XIX в. и в начале XX в. – кто с тревогой, кто с надеждой, – призван был заместить господство безличных институций господством личной воли. Непрозрачные, сложные институциональные образования, с одной стороны, подавляют человека своей анонимностью, с другой – обнаруживают бессилие, когда речь идет о преодолении кризиса. Отсюда широко распространенное желание вернуть в политику личность, тоска о харизматическом герое. Эта тоска, в сочетании с твердым убеждением как Муссолини, так и Гитлера, что они-то и есть „цезари“, которых так ждала Европа, расчистили обоим дорогу к власти. Цезаристская идея имела давнюю историю в европейской традиции. Уже Макиавелли мечтал о вожде, который своими подвигами и героическими деяниями освободит Италию от закосневших традиционных установлений и объединит страну. Примером для „князя“ Макиавелли стали итальянские кондотьеры эпохи Возрождения. Они возникали из ничего, всем бывали обязаны только самим себе и благодаря своим выдающимся личным качествам достигали славы и власти. Они смещали все династии и институции и проводили коренные преобразования в государствах, подчиненных их господству.

Наполеон также воплощал собой, разумеется, в гораздо больших масштабах, тот же самый принцип.

В русской истории, напротив, „цезаристские“ тенденции практически не имели места. На Руси бывали цари, проводившие в русском обществе не менее радикальные преобразования, чем „цезари“ на Западе. Но всякий раз речь шла при этом об этактистской революции сверху, которую инициировали и осуществляли легитимные правители России. Поддержка низших слоев русского народа, на которую иногда опирались цари, также мало похожа на европейское преклонение перед фигурами „цезаристского“ толка. Царя почитали не за его личные качества или подвиги, а скорее как носителя определенных функций. В нем видели хранителя православной веры и естественного лидера религиозно санкционированного политического порядка.

Первоначально большевизму также был чужд культ вождей. В этом он отличался от фашизма и национал-социализма, которые с самого начала фиксировались на личности фюрера. Напротив, большевизм был первоначально структурирован по идеократическому принципу. Здесь высшей инстанцией выступало учение, сначала марксистское, потом марксистско-ленинское. Но в 1930-е гг. партия большевиков постепенно превратилась в партию с вождем во главе. Культ Сталина приобрел в СССР характер государственной доктрины. В создании этого культа принимали участие не только марионетки и выученики Сталина, но и многие большевики первого поколения, вовсе не убежденные в его непогрешимости и всеведении. Почему же они преклонялись перед Сталиным? Они делали это по вполне макиавеллистскому расчету. Культ вождя, по их мнению, должен был прежде всего придать стабильность партии, переживавшей после смерти Ленина период разброда и фракционной борьбы.

Так и в Германии в создании культа фюрера участвовали не только его преданные сторонники, но и представители старой элиты, следовавшие совсем иным традициям. С НСДАП их связывала общая ненависть к Веймарской республике. Веймар воплощал собой разброд, декаданс, внешнеполитическое унижение, а также не в последнюю очередь – „гнилой“ компромисс с внутривнутриполитическим противником, то есть с социал-демократией. Они идеализировали старый патриархальный порядок, но при этом хорошо сознавали, что в современном политизированном обществе их реставраторская программа не имеет шансов осуществиться. Принцип вождизма казался им в данном случае идеальным выходом из положения. С одной стороны, он связывал воедино политизированные массы и в то же время означал конец эпохи компромиссов с классовым врагом, то есть с социал-демократическим рабочим движением.

Эрнст Никиш – один из самых радикальных критиков Гитлера – характеризовал поведение правящей элиты Германии в 1936 г. такими словами:

«(Они) были сыты по горло господством безличного закона и презирали ту свободу, которую он дает; они хотели служить „человеку“, личностному авторитету, (...), фюреру. Они предпочитали перепады настроения, самодурство и произвол личного „вождя“ строгой регламентации и жестким правилам нерушимого законного порядка»¹⁹.

Расчет их, в конце концов, оказался в высшей степени опрометчивым. Так же ошиблись и большевики, на чьих плечах была выстроена новая система. Как в Германии, так и в Советском Союзе не учли, что система с вождем-фюрером во главе означает неограниченный и неконтролируемый произвол, который неизбежно обрушится однажды и на тех, кто его создавал. Ибо любая критика в адрес непогрешимого вождя рассматривалась как святотатство, и это обстоятельство надолго сковало всякое сопротивление диктаторам.

(Перевод с немецкого)

¹⁹ Niekisch E. Das Reich der niederen Dämonen. Hamburg, 1953. P. 87.